

## КОМНАТНЫЙ МАЛЬЧИК

В то яркое жёлтое лето мы с двоюродным братом отправились в Тамбовскую область — в деревню Хомутовка, где у него жила бабушка. В той же самой деревне, совсем недалеко от братовой, — жила когда-то и моя бабушка. Она, правда, была и его бабушкой — уже второй по счёту, в то время как у меня числилась одной единственной.

Такая вопиющая несправедливость усугублялась ещё и тем, что, по наущению какого-то залётного, дальнего и дурного родственника, моя бабушка (в разгар денежной нестабильности) второпях продала дом за копейки; и приезжать в деревню Хомутовка мог я теперь только в гости к своим двоюродным братьям, а никак уже не в собственный родной дом к собственной любимой бабушке. На чужие пироги пасти не разинешь.

Шурику шёл пятнадцатый, а мне было ещё тринадцать, как и другому — мне двоюродному, а Сашке родному — брату Лёше, который уже ждал нас в деревне.

В поезде мы всю дорогу распивали пиво, храбрясь, что такие взрослые и едем в деревню одни. И, конечно, трепались о девочках. Шурик вводил меня в курс деревенской жизни. Всё предыдущее лето, по рассказам, прошло за игрой в «бутылочку», посиделках у костра с гитарой и в других тому подобных простых сельских радостях.

Особенно расхваливалась Светка, с которой Сашке часто выпадало целоваться и о чьих достоинствах знал он не понаслышке. Также упоминалась Оля, которую он не особо жаловал. «Это тебе, наверно, подойдёт», — говорил он с ухмылкой, поса-

сывая «Балтику-трёшку». Намекая, гад, на моё не худенькое телосложение. «Посмотрим», – отвечал я, глядя на тянущуюся за окном белую полосу пустеющей русской жизни и оставляя позади футбол с друзьями во дворе, игровую приставку и родных сердцу комнату и маму.

По приезду, мы сразу стали Капечкиными и должны были забыть на время московские фамилии, так как в деревне такая традиция – носить фамилию дома, в котором живёшь.

Лёха возился в сарае с безнадежно старым мотоциклом, и мы вдвоём с Шуриком отправились проведать соседей. Светку мы нашли равнодушной и скучающей. Она сидела на лавочке, ковыряя в земле прутиком. На меня даже не посмотрела. А я так надеялся тут всех очаровать и утереть братьям нос.

Пока Сашка болтал с ней, я уверился, что Света порядком подзаскучала, и никакая «бутылочка» нам уже не светит. Так и было. Вскинув белокурую прядь волос и щурясь от солнца, она наконец уведомила нас, что завтра уезжает обратно в Москву.

«Ну как?!» – спросил меня Сашка, когда они закончили, и мы отошли в сторону.

«Да так себе», – ответил я, держа ещё в памяти её красные большие пальцы на ногах, с остриженными «до мяса» ногтями. Возможно, они огрубели, пока Светка носилась с местной пацанвой по полям (впрочем, судя по её тоскливому виду, она вряд ли так весело проводила время). Или моё детское воображение делало их особенными, когда они на самом деле были самыми обыкновенными. Но так или иначе, это не было причиной считать её недостойной. И я, конечно, обманывал. Себя, брата. Да и её тоже.

Зато Оля была – совсем другое дело. Вся такая крепенькая, короткостриженная и кудрявая, как овечка (братья так и дразнили её: барашком). И она никуда не спешила, с ней предназначалось провести нам лето. И не знаю, как смотрели на это братья, но я был очень даже рад.

В отличие от местных девчонок, с которыми мы знакомились по ночам и, играя во всякие «кис-брысь-мяу», целовались под

звёздным, близким как потолок, небом, не видя толком лиц и наделяя друг друга несуществующими чертами, — Олю мы встречали каждый божий и не только довольствовались лицезрением, но позволяли себе и шлепки по заднице, а то и щипки за грудь. И за них Оля, взвизгивая, отмачивала нам увесистые оплеухи. Благо, это того стоило. Её юная мякушка тела напоминала наощупь нежный деревенский сыр. И иногда хлеб. И вообще, свежие продукты питания.

«Кис-брысь-мяу» — я совершенно не помню правил игры. Да они и не были важны, главное — сохранились в памяти поцелуи. Сухие. Влажные. Робкие, с дрожащими губами. Хмельные, с языком. Трепетные, с громким сердцем.

Помню, как, осмелевший и пьяный, я тронул кончиком языка губы одной, а она, оторопев и зажав рот рукой, как будто я укусил её, забилась в угол и сидела там, чудная.

Это было в заброшенной ветхой избушке, в которую мы часто водили девчонок. От избушки, впрочем, остались одни стены, крыша кому-то приглянулась и была растащена. Остатки избы принадлежали живой ещё местной старухе Марфутке, которую родня пустила по миру и теперь кормила гнилой картошкой за пропалывание на их огороде грядок. Марфутка возвращалась иногда сюда, в своё оскверненное жилище. И расхаживая, ворчала потом, тряся поросшим реденькой бородой подбородком.

Но это было по ночам. С девчонками. А солнечные дни посвящались купанью на пруду, рыбалке и прогулкам с Олей, которая проводила с нами время лишь от скуки. И только по старой дружбе с братьями терпела наши глупые шутки и утомительные поползновения залезть к ней в трусы. Даже старший и «опытный» Шурик был в её глазах пустым юнцом.

Будучи из тех девчонок, что взрослеют рано, Оля тянулась к ребятам постарше — к крепким деревенским парням. Но днём ей было скучно одной, и она таскалась с нами, потому что деревенских парней, обычно занятых в это время своими дюже мужскими делами, заполучить легче было ближе к ночи, когда возле дома главного заводилы в Пахотном угле Сеньки Мотыля соби-

ралась вся местная молодёжь; выносились колонки с магнитофоном и устраивалась дискотека.

Деревенские танцевали обычно под самую примитивную попсу без лишней агрессии и какой-либо претензии на искусство. Даже такие короли рейва как «Prodigy» ставились крайне редко. Разве что в разгар пьяной драки. Видимо, в грудных клетках этих людей таилась такая грубая и дикая сила, что они и сами боялись выпускать её; и принимали к тому все предосторожности.

В последнюю нашу дискотеку в деревне мы, как по заказу, имели возможность наблюдать сельское веселье в своём апогее, когда даже сам заводила и «ди-джей» Сенька, порвав рубаху на груди, прыгнул с рёвом в кучу дерущихся, а в толпу всё ещё танцевавших людей чуть не врезался на мотоцикле Коля Рыжий, подоспевший на подмогу. Свет фонаря вырвал из темноты его синий «Ижак» с заблёванной коляской, в которой он катал весь вечер какую-то московскую дурочку. Со слабым, не как у деревенских, желудком.

А мы стояли и смотрели на всё это, как лохи, покуривая в сторонке; и если спрашивали закурить, то мы охотно доставали наши дорогие сигареты, потому что иначе было нельзя. Попробуй мы только, — и наше московское дерьмо смешали бы с тамбовской грязью.

Тем вечером Ольга подошла ко мне раскрашенная и пьяная и, попыхивая сигареткой, произнесла: «Ну что, поцелуемся на прощанье, дружок?!» И я робко подставил ей не оперившуюся свою щёку. А она расхохоталась и, как бесстыжая гетера, смачно чмокнула, испачкав меня помадой. «Не смывай смотри!» — бросила, и пошла дальше, хохоча и шатаясь. Неуклюжая и смешная, на высоких каблуках.

На обратной дороге к дому мы с Лёшкой не могли не подражаться, как всегда, обсуждая наших зацелованных и томящихся на печках в ожидании свадьбы пассий, которых мы уже поделили между собой и называли не иначе как «моя», «твоя» и «его». И шли поэтому молчаливые и злые, пока Сашка не обозначил гулко своё присутствие в ночи, так что даже проез-

жавший на велосипеде мужик с удочкой обернулся на нас и как-то очень ловко выругался; тогда мы заржали, как кони, забыв о ссоре и вспарывая хохотом ночную тишину.

Подходя к повороту на Хомутовку, мы узнали у кустов синий «Ижак» Кольки Рыжего. Коляска была пустой и чистой; её он где-то уже обтёр то ли травой, то ли очередной юбкой. Но мы точно знали, чьей она могла быть. Мы подошли и прислушались: ни стон, ни возни. Но все чуяли, что где-то там, чуть поодаль, на лоне природы сельский увалень бессердечно разгадывает в ночной траве все тайны нашей славной Олечки. Все её чёртовы тайны. Перед уходом с «пятака» мы видели её залезающей к нему в коляску.

По обоюдному согласию, мы не осмелились заходить в любопытстве дальше, чем следует, и пошли своей дорогой, в конце которой нас ждал сарай с сеном, чтобы не будить никого в доме Капечкиных и поболтать ещё перед сном. Это мщение было куда более унижающим, чем поцелуй в щёчку.

Как-то за пару дней до этого мы зашли к Оле по утрам. Она делала вид, что читает школьный учебник, и дулась на нас за вчерашнее. Её домашний сарафанчик чуть отходил от тела, когда она, склонившись над книгой, сидела, уперев в стол локти, и в разрезе его мы видели её молочную на загорелом теле грудь со вспухшими сосками. И она, зная, что мы подглядываем, продолжала делать вид, что читает.

Оля сердилась на нас за то, что на пруду братья скрутили ей руки, держали ноги и тискали, бляя от смеха, как козлы, а я стоял и тупо смотрел на пучок маслянистых чёрных волос у неё под мышкой, боясь вступить за неё. Зная, что братья обязательно потащат меня за это в воду, как всегда. А я не умею плавать. И буду захлёбываться и хвататься за них. А они будут смеяться и отталкивать. И я буду безрезультатно драться с ними. А она тоже будет, сидя на берегу, смеяться надо мной. А теперь она, по крайней мере, не смеётся, лежит себе и молчит, терпит и ждёт, пока братьям надоест это веселье и они, затисканную, отпустят её.

«Ладно, хватит с неё!» – скомандовал старший.

«Да пусть валит, дура!» – согласился Лёха.

И замученная до слёз, Оля поднялась и пошла прочь, всхлипывая. А братья всё равно с гиком набросились на меня и потащили в воду. И это было ещё обиднее и подлее, после того, как я предал что-то ради них. Или просто из-за себя. Для себя. Во имя себя. И теперь мне стало всё равно, больно и так же мучительно, почти, как и ей, что я ударил кого-то наотмашь и повалился в воду, захлёбываясь. Костяшка стукнулась о твёрдую макушку, и Сашка выругался матерно. И Лёша пнул меня в бок коленкой, а я уткнулся кому-то пяткой в грудь. И мы дрались, и захлёбывался чаще я, чем они. И кровь попадала в воду, расплываясь в ней сразу тонкими струйками. Моя и ещё кого-то. И Оля шла и рыдала, а я всё ещё слышал и видел её. Но не мог догнать, а она остановилась и, махая кулачком в воздухе, кричала что-то нам. Или только мне. И плохо слыша слова её, я старался не верить, что такими неразборчивыми они мне лишь кажутся.

.....

Покидали мы Хомутовку в том же составе: вдвоём с Сашкой. Лёша оставался в деревне. На привокзальной остановке мы узнали в стоявшей с матерью девочке нашу ночную знакомую. И она тоже узнала нас. И стеснительно улыбнулась. А когда села с матерью в автобус, застенчиво помахала нам из окошка. И отвернулась сразу, зардевшись.

Она была как раз той, что называлась между нами «моей». «Глянь, твоя!» – горланил Сашка, не унимаясь и ржа, как лось. Впервые мы увидели одну из нами зацелованных при свете солнца, со всеми курносостями, веснушками и прочими естественными особенностями, не тронутыми идеализацией наших фантазий. Меня и самого это вдруг рассмешило. И мы стояли и гоготали с братом, как два гусака. И взяв с собой в поезд пивка, всю дорогу занимались тем же, обсуждая наше не кончающееся лето. По обоюдному согласию привирая везде, где возможно.

Года три спустя, в Москве, я случайно увидел Олю на улице. И машинально толкнул друга локтем, указывая на неё.

– Ну и что? Что за тёлка?! – спросил тот в ответ на моё молчание.

– Да так, – сказал я, не решившись распространяться о ней, – обознался, думал, знакомая...

– Эта толстуха – знакомая?.. – ухмыльнулся товарищ.

Заложив за лямки рюкзака пальцы, Оля шла куда-то такая же насупленная и серьёзная, какой обычно была с нами тем летом. И совсем не казалось мне толстой. Просто – разгаданной.

## **ЧУЖИЕ ТАРАКАНЫ**

Дядя Сеня Бляхман ни с кем не здоровался. Только с папой и старшей сестрой. Потому что они были юристами. Остальных в упор не видел. И проходил всегда мимо меня, мамы и другой сестры, ни сказав ни слова и гордо вздёрнув огромный, как пещера, нос, из ноздрей которого спускались вьющиеся, переходящие в усы, рыжие волосы. Глаза его круглились, как у рыбы, да и сам он в молчании своём, был для нас загадочной пузатой рыбиной, плавающей по своим неведанным законам.

С другими Бляхманами сообщение кое-как было налажено. Виталик, младший сын, учился с моей сестрой в одном классе. И когда меня не с кем было оставить и она тащила меня с собой в школу, то я, рисуя за партой чёртиков и поросят, имел возможность наблюдать его придурковатое поведение, которым он, в отличии от остальных Бляхманов, отличался. Помню, как учительница вышла из класса и Виталик, приподняв парту, что-то заорал, как дурак, а одноклассники только посмотрели на него с привычным недоумением и ничего не сказали.

Не то чтобы Бляхманов не любили, но мало кто их понимал. Они не одевались в новое и яркое. Сколько я помню свою жизнь по соседству с ними, они всегда ходили в чём-то выцветше-облезлом и бесформенном. Одни и те же брюки, юбки, пальто, сумки и очки. Один Виталик любил носить цветастые шмотки и немного пестрил на фоне сородичей.

Чем питались Бляхманы, тоже было не ясно, но запах шёл

от них всегда неприятный, как будто они постоянно жарили картошку на сале с луком и все ею пропахли.

У другой нашей соседке, тётки Лили, к которой я ходил иногда в гости, был по последней моде сделан ремонт: дутыми кирпичиками обклеены стены в коридоре, проход в зал преграждал стильный занавес из подвешенных разноцветных палочек разной длины, которые, когда проходили сквозь них, приятно похрустывали и дребезжали. В зале стоял импортный цветной телевизор с видеомagneтофоном, а на стене висела огромная полка с коллекционными моделями автомобилей, у которых открывались все дверки и снимались покрышки. Машинки принадлежали сыну тётки Лили Эдику.

Бывало, меня оставляли с дочерью тётки Лили Мариной, которая со своей жгучей внешностью могла бы сыграть цыганку Кармен. Цыганка Марина включала мне видеокассету с диснеевскими мультиками, которые показывали по телевизору раз в неделю с повтором на следующий день. Используя при этом дистанционный пульт, что было для меня если не чудом, то бесовским колдовством. И в мягком кожаном кресле я предавался развращающей роскоши, то и дело отвлекаясь от «Мишек Гамми» и любуясь массивной полкой с игрушками, — мечтал к ним притронуться.

И ничего такого, конечно, не было у Бляхманов. Как-то раз, когда Бляхманы всей семьёй надолго уехали, оставив ключи нашей общей соседке (той самой тётке Лили), она, судача с моей мамой, водила нас в бляхманскую квартиру посмотреть, как у них грязно и сколько тараканов попряталось по кастрюлям. Я выглядывал из-за маминой юбки и считал их. Пальцев мне явно не хватало. А по цвету они напоминали хозяев: выцветше-рыжие. И так следственным экспериментом источник вредных насекомых был найден, и ещё одна вина легла на махровые плечи Бляхманов.

Также было установлено, что всё в квартире заставлено не работающими телевизорами, уже раскуроченными, с отдельно лежащими кинескопами и мотающимися кишками проводков, и теми, что ещё только ждали очереди пойти на запчасти. Повсюду



ду пылились магнитофоны и прочая раздолбанная техника. Дядя Сеня зарабатывал на жизнь починкой старого барахла. Он таскал с помоек выброшенные телевизоры, разбирал их и, с помощью замены деталей, ремонтировал те, что приносили ему клиенты.

Непонятно для чего Дядя Сеня собирал ещё и доски. Весь наш узенький коридорчик был вдвое сужен за счёт складированных в нём досок и досочек, а также кусочков оргалита, пенопласта и стекловолокна. Хлам этот занимал всю Бляхманскую половину коридора, а сами Бляхманы заходили и выходили в квартиру по нашей.

Наверно, дядя Сеня с концами замуровался бы в квартире, как религиозный фанатик, и замуровал бы нас заодно, но отец пригрозил ему пожарниками, если он притащит в коридор хоть ещё одну деревяшку. И так отношения наши окончательно разладились. Мы продолжали жить по соседству с Бляхманами сугубо молча, и специфический, но привычный для нас чесночно-сырный дух казался теперь ядовитым.

И хоть сами Бляхманы (не считая говорливого Виталика) ни разу не переступали порога нашего дома, я не только в их отсутствие, но и просто заходил к ним разок. Это был редкий случай перемирия в нашей необъявленной войне. Помнится, дядя Сеня даже говорил мне человеческие слова, мол, садись сюда, хочешь этого, возьми того.

Всё потому что я оставался дома один, и Бляхманов очень попросили приютить меня на один вечерок. И они согласились, растроганные. Но снова отовсюду таращились на меня пучеглазыми кинескопами растерзанные телевизоры со змеившимися потрохами разноцветных диодов, а грязный, в пятнах, потолок, обшарпанные обои, битая мебель и сваленные в кучу микросхемы, платы и конденсаторы оставляли на всём интерьере отпечаток застоя и тоски по кочевью.

Из окна Бляхманов я увидел впервые с высоты девятого этажа двор и детскую площадку, вид которых из наших окон был не доступен; а носки мои моментально обросли налипшими на них пылью и волосами. К слову сказать, у Бляхманов была

собака.

И не просто «собака», а очень странная дворняга с вечно всклокоченной, грязновато-рыжей шерстью, напоминавшая кокер-спаниеля без ушей. Звали пса Диком, и главная его странность была в том, что никому он по сути не принадлежал, хотя номинальными хозяевами считались Бляхманы.

Они запускали его в дом и подкармливали, но большую часть времени пёс проводил на улице как бесхозный. Лазил по помойкам, носился с другими дворнягами и выслеживал у подъезда своих любимчиков. Как только они появлялись, он, кружась от радости, облаивал прохожих, демонстрируя так свою семейную сопричастность. Но в отсутствии Бляхманов Дик довольствовался и соседями, и рядом с нами, идущими домой или из дома, вёл себя точно так же: кружился, вилял хвостом и бессовестно задибался ко всем прохожим.

Ходил слух, что Дик подкармливается Бляхманами за то, что спас от других собак дядю Сеню, попавшего им на зуб из-за какой-то вонючей колбасы. Он нёс её домой, но, увидев на помойке целехонький «Рубин», полез за ним тотчас, не откладывая дела на потом.

Уличные собаки были не единственными врагами Дяди Сени. Часто его подкарауливали и начищали у подъезда физиономию до вечерне-небесной синевы недовольные работой клиенты. И даже конкуренты. Так работала в то время сервисная служба жалоб и предложений. И Дик в такие моменты, карауливший у подъезда хозяина, тотчас поднимал дикий лай и носился, как бешеный, тем самым сигнализируя бдительным гражданам об опасности убиения кормильца. Чем его снова и спасал.

Говорили также, что Дика просто притащил в дом глупый Виталик, не понимавший, что это ещё одни лишние рот и задница, но, накормленный единожды, пес привязался к Бляхманам, как к родным, и не отставал больше.

Так и продолжало бы семейство Бляхманов из-за нелюбимости и скрытности своей обрастать тайнами и загадками и, глядишь, открылся бы в скором времени невиданный на Руси

доселе заговор или обнаружилась в жилище Бляхманов, помимо тараканов, ещё и штаб-квартира масонского ордена и сионистов. Но ничего такого не произошло, потому что Бляхманы просто уехали на «ПМЖ» в Америку. В самом сердце русской эмиграции – город-герой Чикаго (что, конечно, само по себе событие чрезвычайное и на многое указующее), и все их доски и дощечки вернулись-таки к себе на помойку.

Но это потом, а сначала наступили «девяностые», и пресыщенный народ стал выбрасывать на свалку компьютеры. На смену старым советским «Электроникам» пришли «386-е» и «486-е Айбиэмы». Но скоро и они устарели, и дядя Сеня был потрясён до глубины души, когда на санках увозил с помойки свой первый «386-й», а за тем и «486-й», когда на смену им пришли первые «Пентиумы.» «Компьютеры выбрасывают, вот люди!» – отвечал он на вопросительные взгляды прохожих, заставших его за работой.

А потом грянул «девяносто восьмой», девальвация ударила по карманам россиян, и старший сын Бляхманов, Илья, куда-то пропал, затем съехали с квартиры и мы, а за нами и сами Бляхманы. И, как выяснилось со слов тёти Лили, продолжавшей с нами общение, никуда-то там, а как сказано уже было, в самые С.Ш.А, где их ждал обжившийся к этому времени с американкой-женой незаметный и тихий Илюша.

Как-то после, лет через пять, я приехал на старое родное место поболтать со школьным товарищем и распить с ним на лавчонке во дворе бутылку водки. Пили «Голубой топаз», и небо тоже голубело и вдалеке мерцало сыпью мелких звёзд. Кудахтали бабки у подъезда. Шла осень, ветер копошился в пожухлой листве. Мы закусывали водку сырыми сосисками. Мысли разбредались по закоулкам сознания, как чужие тараканы в своей голове.

И тут подбежал Дик с мокрой мордой и требухой в зубах и остановился перед нами. Я узнал его сразу, а вот он меня узнавать не собирался и смотрел только голодным взглядом на осклизлую сосиску в моих разогретых руках. «На!» – сказал

я и бросил ему. Он сожрал и снова уставился. «А помнишь ли ты Бляхманов, Лёша?» – спросил я товарища. «Да нет, ни хрена ты не помнишь», – ответил сам себе, вспомнив, что он их знать не мог, и отдал псу оставшиеся сосиски, а нам налил ещё по одной. «Дерьмо – сосиски», – сказал в оправдание.

Через некоторое время я снова вспомнил про Бляхманов на годовщине смерти отца, и сестра сказала, что нашла в «Одноклассниках» Виталика. Мы влезли всей семьёй в интернет, подстегнутые любопытством, и скоро увидели красовавшуюся на страничке младшего Бляхмана одну единственную фотографию. На ней Виталик, в твидовом бордовом пиджаке, стоял на фоне грядки и придурковато, как нам показалось, улыбался.

«Фермер что ли?» – риторически спросил я.

«Чикаго – это город современный», – сказала старшая сестра-юрист и мы разочарованно вернулись к столу. К закускам и своим маленьким семейным делам.

## **ЗМЕЯ НА КРЕСТЕ**

Она была обычная девочка-хипстер, из тех, что всю неделю мечутся между институтом и Макдональдсом, а, подгуляв в пятницу, целуются на Патриарших с каким-нибудь бомжом, для остротки именуящим себя старым питерским панком.

В воскресенье они ходят с мамой в церковь, в понедельник просыпают занятия после очередной дискотеки с воспоминаниями чужих губ на губах, во вторник помогают бездомным собачкам, в среду, предав Христа, снова бесстыдно влюбляются, а в четверг им становится скучно.

Башмаков познакомился с ней в субботу. Как и полагается, она сидела на бульваре с кофе и сигаретой и смотрела на окружающих с величием Клеопатры. Правда, её напускной цинизм не выдерживал никакой критики; грудной мягкий голос выдавал натуру хрупкую и нежную. Уже через минуту она смеялась его пустым шуткам и смотрела по-рыбьи наивно из-под огромных розовых очков. А через пару часиков они очутились у неё дома.

Быстро сбросив с маленьких ножек свои модно состаренные кеды, она, босая, прошлёпала на кухню:

— Надеюсь, ты кушаешь тыкву?! Потому что я веган и у меня нет дома всякой жирной дряни!

— Единственное, что я не ем, — это тыква! — кричал в ответ из коридора Башмаков в шум изподкранной воды. — Но зато в остальном я не привередлив, ты можешь даже скормить мне свои кеды, если есть майонез!

— Фу! Вот ещё, садись и ешь!

Тыква Башмакову показалась не так уж и плоха, если учитывать, что губы её, как и положено, пахли кофе и сигаретами. Губы её, — вы поняли, надеюсь, что девочки, а не тыквы? Русский язык очень гибок. Впрочем, ей нравился его русский язык. И его еврейское имя.

Мама должна была явиться в девять. Ну знаете же эти пресловутые скрип лифта, звон ключей и хруст замка? Усталые мамыны глаза, сумки, оттягивающие руки к полу и делающие маму ещё более сутулой и жалкой. Растрёпанная причёска, чудовищно старомодные серьги и этот с укоризненной любовью взгляд: всё для доченьки, всё для моей девочки.

С полдевятого они курили на лестничной. Он сидел на подоконнике, она была в тапочках с помпонами. За окном всё погасло, только бледно расплывались фонари. Говорили ни о чём.

— Скоро выпадет снег, окна покроются инеем, и можно будет рисовать.

— Да, так всегда бывает.

— Спасибо, кэп.

Из лестничного пролёта доносились звуки открываемых и закрываемых дверей, шаркающие то и дело шажки каких-нибудь старушек, кошачье жалостливое мяуканье. В перерывах между сигаретами, они сцеплялись губами, и Башмаков жадно глотал терпкий сок её рта.

— Я умею играть на гитаре, хочешь я спою тебе?

— Давай, спой мне Вертинского.

— Я не пою Вертинского.

– Тем лучше для Вертинского.

Тот самый скрип лифта...

– Наверно, это мама.

Злой взгляд мамы, знающей себе цену, маленькая сумочка в руках, прямая осанка спины, натренажёренные бёдра, юбка в обтяжку, одним словом – мама была хороша. Только маленький рот узелком, который при разговоре развязывался и завязывался, Башмаков не очень оценил. Да и голос был суховат и растрескавшийся, как бывает от простуды.

Никакого упрёка за Башмакова на площадке дочь не получила, как и Башмаков за дочь. Отчего он даже приуныл.

– Ладно, я пойду.

– Встретимся завтра там же! У Макдональдса!

– Как скажешь.

Башмаков последние лет пять думал, что пора остепениться и завести жену, но всё как-то не получалось, то она не умела готовить, то была слишком тупа, то сама убегала от Башмакова через неделю. Почему-то он поверил, что с этой у него всё получится – необходимо было схватиться за кого-то, как за спасительную соломинку. И при первой же возможности заронить в неё семя.

Башмаков был уже не так молод и не так успешен, чтобы до старости менять каждый месяц девок; многие из знакомых сверстников давно уже обзавелись детьми, создали семьи и спокойно себе лысели и толстели. Его же голова облетала не заслуженно и тревожно, и в сердце ныла неистово холодная осень. Башмаков боялся всепоглощающего одиночества, такого, в котором забываешь, как тебя зовут, и сходишь добровольно в ад, как зомбированная дудочкой палача крыса.

Одиночество перестало питать его силы, как раньше. Когда-то он о многом мечтал, но давно уже похоронил все надежды. Тщеславие, как первая шлюха, опоила его своим сладким вином и, обчистив карманы, бросила ни с чем на дороге: может, кто подберёт, сжалится.

Когда-то он не плохо писал, ему пророчили будущее,

и Башмаков возмечтал о славе, она казалась ему совсем рядом и совершенно доступной, надо было только написать роман. Потому что никто не печатает рассказы и стихи; хочешь, чтоб за автографом к тебе подходили люди, напиши роман. И Башмаков заболел жадой создать роман, а теперь ему было тошно от одного этого слова.

Роман! Звучит, как что-то изящно-могучее, неприступное, как скала, которую предстоит покорить. Роман! Это женщина с мужским именем. Это мужчина, наряженный в женщину! Роман – это условная величина. И это всего лишь фикция в руках дилетанта.

Так Башмаков бросил писать рассказы, считая, что тратит время зря, и только и делал, что думал о романе. Выдумывал сюжеты, разбивал на главы, кратко пересказывал. По часу искал названия для своего шедевра. В итоге Башмаков написал их штук пять, но ни одного не закончил; а если бы и закончил сути бы это не меняло, потому что ни в одном написанном тщеславия ради слове не было жизни. Такое слово кажется живым, пока смакуешь его на губах, но только даёшь ему волю, прислоняешь к бумаге, чтоб дышало оно на ней твоим именем, оно тут же сгорает от стыда за собственную бессмыслицу.

Вдохновение тоже ушло. Падкий на награды, Башмаков стал ему не интересен и сделался обычным графоманом. При этом у него осталось достаточно вкуса, чтобы не влюбиться в собственную бездарность и не войти в тусовку себе подобных никчёмностей, которые собираются раз в неделю в антикафе почитать друг другу свои жалкие творения; рассыпаются в обоюдных комплиментах и расходятся полупьяными по домам, – обратно к безжалостным отражениям в зеркалах, поджидающим в каждой комнате.

Таких он ненавидел больше себя, и поэтому дичал в одиночестве и отчаянно предавался унынию и разврату. Искусство? Искусство или что? Искусство или любимая? Искусство или папа с мамой? Искусство или смерть? Так точно, искусство забирает всю жизнь без остатка. Башмаков понял это на похоронах своего

друга, и, если бы у него была возможность вернуться в прошлое, он плюнул бы в рожу тому, кто первый похвалил его за детские наивные стишки, и выбрал бы обычную жизнь. Пил бы пиво, залезал бы на жену каждый вечер под тишину уложенных сосунков.

Впрочем, Башмаков понимал, что зря тешит себя очередными фантазиями. Знал, что ничего уже не исправить, что эта зараза не изживаема. Это проклятье, от которого нет спасения, и ничего не изменится: время ушло, поздно начинать строить карьеру, хвататься за бабу, искать себя в чём-то обычном, нормальном, повседневном. Он слишком научился презирать этот мир за его выхолощенную комфортабельность, чтобы просто взять и стать, как все; научиться вставать каждый день на работу и просиживать все дни напролёт в офисе, листая на мониторе тупые картинки. Скорее, он завяжет себе на шею посмертный галстук. Как его друг Воробьёв.

Воробьёв повесился на карнизе в собственной квартире. Окутанный в предсмертной пляске шторами, пустил в батарею струю. Выдавил из себя чёрный язык, даже смерти кривляясь и строя рожи.

Дворы, подъезды, тусовки, отсталые предки, лёгкие наркотики, дебильная школа, первый сексуальный опыт с девочкой, первый сексуальный опыт с мальчиком, первый групповой секс, это модно быть бисексуальным, — что ж, во всём есть свои плюсы и минусы, — институт бросил, от армии откосил, жена, ребёнок номер один, работа фотографом, ребёнок номер два, умерла мама, работа в тату-салоне.

— Я художник, Башмаков!

— Да-да, я помню.

Да, в девятнадцать заболел сифилисом и сделал первую наколку, забил её в двадцать два, потом почернела рука и полгруды, через год расцвели красными розами плечи, оскалился череп на кулаке, на животе появились взведённые револьверы, а запястье украсила змея на кресте. Точно такая же была и у Башмакова. Осталась в память ему о друге. Ему Воробьёв



набил её на день рождения.

Перед смертью Воробьёв был уже весь исколотый и пробитый. С вилкой, воткнутой в щёку и безумно-больным взглядом на фотографиях в соцсетях, под которыми остались его предсмертные бессвязные крики. И неожиданно красивая фраза о последних вдыхаемых воином лучах утреннего солнца топорщится до сих пор ясностью на фоне бессонного бесноватого бреда нескольких дней.

Двадцать семь лет. За год до этого ушла жена с детьми. Башмаков вспомнил, как сказал когда-то, что ненавидит таких, как Гребенщиков. За то, что он старый успешный козёл, весь в бабах и цветах; он не заслуживает сочувствия в отличии от тех рок-героев, павших в благодатные двадцать семь, разукрашенными с ног до головы татуировками. Теперь он думал, не эту ли фразу вспомнил Воробьёв перед тем, как повеситься.

«Какая-то пустота пожирает нас изнутри, — думал Башмаков, — нелепо звенящая пустота». Вообще-то, он ненавидел разговоры о рок-музыкантах, когда-то он и сам чуть не ударился в эту дичь: бренчал на гитаре, писал дурные стишки. «Рассуждать о Битлз или любой другой рок-группе всё равно, что увлекательно ковыряться палкой в дерьме», — говорил Башмаков. Вот и Воробьёв ударился в модную тему, уйдя от искусства; а когда-то он хорошо рисовал не только эскизы для татуировок. «Я не сильно от него оторвался», — понимал Башмаков, делая очередной глоток водки.

Он вытер горлышко, закрутил пробку и поставил у оградки бутылку; закатав рукава, открыл забытые руки. Змея на кресте, она похожа на искусство — искусство исцеления, что та авраамическая вера, пробуждавшая в евреях радость жизни в пустыне.

— Ну что тут? Всё по-прежнему, не воскрес? — подошёл к могилке Федька Сябитов.

— Воробей, сука, повесился, — сказал не в лад Башмаков, не поняв вопроса.

— Я и так это знаю, — сказал Федька своим сдобным голосом и предложил Башмакову открытую бутылку.

– Да у меня вроде ещё осталось.

– Какая разница, выпей из моей.

Башмаков выпил. Федька Сябитов был здоров и неуклюж во всём. Имел зигхаяобразные движения здоровых красных рук, которыми всех задевал, шершавый характер и агрессивно широкий выбритый череп. Был общим старым другом Башмакова и Воробьёва. Работал лет с шестнадцати на одном месте – бригадиром грузчиков на мясокомбинате. В свободное время немного почитывал.

– Панки уже не те, согласишься? – сказал он, зажёвывая хань колбасой, предложенной и Башмакову.

– Да, в панк-шопе ирокез розовый купят и трясутся на каком-нибудь слюнявом концерте, – охотно затянул пьяный Башмаков нарочито художественно. – Вот, то ли дело в наше время! Панки были величественны в своём безумии, как первые христиане! На концерт придёшь, денег нет, тёлки нет, ничего нет, к любому панку подходишь, он тебе мелочи отсыплет, рубаху последнюю отдаст, пивка глотнёшь у него нахаляву... Эх, на подоконниках в подъездах девок пёрли, помнишь?!

– Конечно, помню, после КВД разве забудешь!

– Одних панков цивилизация социализировала, других переварила в себе и выплюнула на помойку – бродят бомжуют, обокраденные модой. Любой додик теперь с ирокезом на улицу может выйти. А наколки?! Даже домохозяйки и те все забытые! Да и бабы дают уже не из-за «свободной любви», а потому что бл\*\*и!

– Кстати, как там твоя девочка, на который ты собирался жениться?

– На днях выскоблили и увезли к бабушке.

– Легко отделался, брат.

– Да, пусть отдохнёт.

– Что думаешь теперь?

– Думаю также подрабатывать, пописывать, ненавидеть и презирать весь мир, как тебе? – слова Башмакова от обиды и водки во рту разбухали и выползали захлебнувшимися

в слюнях.

Сябитов покосился на Башмакова и с аппетитом отхлебнул ещё водки, снова уставившись в надгробие.

— Занятно. Но ненадолго это всё. Надо осесть, бросить якорь...

— Знаю я эти размытые соплями мечты и дороги к беззаветной жизни: обзавестись семьёй, сидеть на шее! Ты же видишь, что бабы тоже не спасают?

— Да что с баб спрашивать, Воробей просто мудака полный! Ничего другого придумать не мог.

— Когда кто-то кончает с собой, всегда выглядит полным мудаком в глазах окружающих. Ведь столько возможностей, но попробуй ты, живущий, всё бросить и заняться своими желаниями и возможностями? Почему-то всегда бывает легче повеситься...

— Есть одно средство: нужно наделить себя сверхъестественными способностями. Делаешь себя великим прорицателем, и рука на себя уже не поднимется.

— Этот способ не для трезвых людей.

— А нас и не назовёшь трезвыми.

Закрапал дождик, зашлёпал по листе. Водка загорчила на стылых зубах. Башмаков мелко плакал.

— Да, жалко Воробья...

— Не особо... Просто вспомнилось одно утро из детства, когда гонял я на велике по пустым улицам под дождём. Промокший насквозь — на советском велике с дребезжащим крылом. В одних кедах и шортах, облепивших мне ноги. Как же я был тогда, сука, счастлив...

Когда они возвращались с кладбища, все погрузилось в тёмную муть обманчивой воды вечера. Вдалеке, над бездорожьем и сторожевой будкой маячила в мерцающей пыли дождя полоска фонарного света. Как прибитая змея на кресте.

## КАК СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ВОЗВРАТИЛСЯ ДОМОЙ

Снова домашний вечер окутал своим благодарным теплом, электрическим светом и надел на распухшие ноги мягкие тапочки. Некий Сергей Петрович Подбородкин добросовестно отработал смену и готовил теперь на кухне себе ужин. Супруга его лежала в комнате на диване и смотрела передачу, и он видел с кухни только её жирные от крема, пухлые ноги. Он привык готовить себе сам (при живой жене) и даже хвастался навыками на работе.

«Сегодня мы поговорим о взаимоотношении полов, — слышалось из комнаты, — кто в доме хозяин и как сохранить мир в вашем доме».

— Идиоты, — со злобой шикнул Подбородкин и включил радио.

— По Варшавскому из центра — пробки.

— Машина сломалась, — вспомнил он с радостью, — хоть на дачу не поедем, пока не отремонтирую.

В морозилке заждалась пачкапельменей. Подбородкин достал её и вместе с вопросом «сварить или обжарить?» вспомнил, что и вчера на ужин ел пельмени. И пронёсся в голове за минуту весь его день, со всеми вставаньями, завтраками, бритъём, дорогой, начальниками, планёркой, перегаром, поручениями, отчётами, упрёками, премиями...

«А ведь я уже бригадир, — подумал Сергей Петрович. — Ещё — бригадир, а уже — пятьдесят, а уже через восемь часов начнётся опять такой же точно день, со всеми... Точно такой же день!»

«Так вы говорите: ваш муж прекрасно готовит?» — слышалось из комнаты.

«Так сварить или обжарить? — вспомнилось Сергей Петровичу. — Сначала — сварить, потом — обжарить.» Пельмени начали таять. «Обжарить», — решил он и вывалил содержимое пакета на раскалённую его задумчивостью сковородку. Пельмени

забрызгали маслом и зашипели.

«Точно такой же день, — неуклонно размышлял он. — Так хочется запить... а если выгонят с работы, а если выгонит жена, а если... Ну и что! Пусть выгонят меня... А все равно страшно, жалкая я тварь, разжился здесь, как гриб в банке, и вылезти страшно...»

— Страшно-страшно, — шипели пельмени вкрадчиво.

— Точно такой же день, точно такой же, — повторял шёпотом Подбородкин, и с опаской поглядывал на растопыренные пальцы ног жены, видневшиеся из комнаты. И один из них — ему показалось — кивнул своей накрашенной квадратной мордочкой: «Точно такой же день!».

— Да, верно, — сказал Петрович, и невольная улыбка поползла по его разгулявшемуся лицу. — Так что же теперь: обжарить или сварить? Сначала — обжарить, потом — сварить! — И схватив с жаром горячую сковородку, он с размаху швырнул её в батарею, чтобы и все жители дома услышали о его безысходности.

Разлетелись по кухне румяные кусочки теста с мясом; а гул от удара застыл в его ушах и показался таким неизбежным и решительным, что упал Сергей Петрович на колени, зажмурил с силой глаза и разинул отчаянно рот, как будто хотел набрать воздуха, чтобы закричать во всё горло. Но вместо этого разразились надрывистые всхлипывания и потекли слёзы.

— Серёженька-Серёженька! — бесшумно ступая мягкими подушками ног, заботливо пробралась на кухню напуганная женщина. — Что же это с тобой, миленький?! — Губы её вытянулись в трубочку, щёки налились кровью, а возбуждённые любопытством и страхом глаза созерцали бессмысленно происходящее.

Сергей Петрович Подбородкин — порядочный семьянин, слесарь шестого разряда, награжденный при советской власти «орденом Сутулова», валялся на полу, как пришибленный тапком таракан, и корчился в припадках то смеха, то плача, то крика.

— Боже ж мой, Боже ж мой! — спустя час повторяла брошенная женщина и собирала с пола румяные пельмени, улыбающиеся, как улыбался её муж, когда его увозили врачи. «Танеч-

ка, какое горе!» — рассказывала она по телефону, а в это время по Варшавскому в сторону центра «скорая» везла Сергея Петровича «домой», и никакие пробки не могли этому помешать. «Сначала обжарить, потом сварить», — ехидно улыбался он с пеной у рта.

Сергей Петрович Подбородкин необратимо возвращался домой.

## **ПОЛЮБИ НАС ЧЁРНЕНЬКИМИ**

Филимон Аркадьевич Хмырь не употреблял. Отгремели новогодние зверские праздники и февральские скучные поводы, вот и марта восьмое прокатилось с визгом, а не далее, как вчера, прошло мирно в семейном кругу и жёновъесорокапятителетие. Да и выходные кончились, в конце концов, и наступил извечный — для кого душный, для кого свежий — понедельник. А Филимон Аркадьевич собирался на работу не солоно хлебавши, не каплей горячительной жидкости рот свой не облагородив за время заслуженного отдыха. Он знал, что алкоголь плохо на него влияет, мало того, что вносит неразбериху в мозговую ткань, которая начинает временно кочевряжиться и создаёт характерный дискомфорт в подлобном резервуаре; но к тому же и отвратительно влияет на моральные качества Филимона. Он становится не терпим ко многому, к чему в повседневной жизни имеет вынужденную толерантность, и склонен бывает выдавать разные штуки, кажущиеся ему весёлыми, но являющиеся, по большому счёту, конечно, глупостями; как оказывается всегда по утрам. В общем, что распространяться на давно известные темы, русская поговорка: голова дурная, а ноги ходят — работала в случае с Филимоном Аркадьевичем идеально и в полную силу.

Короче, утро выдалось солнечное. Но не предвещавшее никаких радостей и развлечений; жена бросила на тарелку яичницу, с вкраплениями укропа и двумя лопнувшими сардельками поверх, источающими жир на вытекающий желток. А молоко для кофе пришлось уже подогревать самому.

На улице же было приятно — но нельзя задерживаться — требовалось спешить на работу. «Если с утра солнце разбазаривает такую порцию тепла, что же будет к полудню, Господи?!» — думал богобоязненно Филимон Аркадьевич. Он шёл обычной своей дорогой к неприглядной автобусной остановке. Рядом находился круглосуточный супермаркет «К дяде Вове»; возле, как всегда, дежурила стайка бичей, они организованно собирали дань с мирного населения на свою безобразную жизнь. Иногда, устав, некоторые из них перебирались на остановку, и там спали вповалку на скамейке или под ней. Или сидели, пили и иногда даже закусывали. На скамейку местные не садились: знали, что там не чисто для задниц, даже в штанах. Штаны тоже было жалко.

Хмырь в этот раз попал под раздачу, вернее, под сборы. На автобусной остановке зашевелилась живая, как плесень, в тепле и сырости пакостная пьянь, погибающая здесь день за днём и цветущая. Скорёхонько отделившись, неказистая фигурка затрусила по направлению к Филимону Аркадьевичу.

— Мужчина, можно к вам обратиться?! — сказал нарочито вежливо низколобый паренёк в покрытой пятнами куртке.

— Ну обратись, что уж, — бодро ответил Филимон Аркадьевич.

— Не поможете нам, не хватает...

— Да знаю я на что у вас не хватает, — с укором перебил Хмырь. — Бесстыдством от вас несёт, вот что! Как в глаза ещё наглости смотреть хватает, а?! Как язык не отсох?! Водку трескать с утра до ночи!

— Уважаемый! Да не ругайтесь вы, уважаемый! — поспешил на помощь товарищу другой из кучки. — Помогите, просят же люди!

— Люди! — взвизгнул Хмырь. На него начинали оборачиваться мимопроходящие: увлекаясь, он всегда отчаянно жестикулировал. — Эх, дал бы я вам вспоможение! — зарывался всё дальше Хмырь. — Отправляйтесь на свой перевалочный пункт, кровопийцы!

Алкоголики уже никого ни о чём не просили, а лишь молча,

стоически наблюдали распалённого Хмыря, слегка придерживая на мордочках гомерические ухмылки. Размножаясь пучкованием, они образовывали то тут, то там живые соединённые организмы. Троя уже стояли перед Аркадьевичем. Ещё двое смотрели со скамейки. И четверо следили за действием с козырька магазина, облокотившись на ограждения, как на балюстраду в театре.

— А ещё ведь прилично так спрашивают, и не стыдно вам? — продолжал бубнить Филимон; впрочем, направляясь уже к подъехавшему автобусу.

Тирана закончилась словами «Тьфу на вас!», и прыжок на подножку автобуса был совершён блестяще. «И на вас», — сказал один из защитников блокпоста, и все они одновременно отвернулись, потеряв интерес к уехавшему чудиле.

Оживлённый и восторженный своим подвигом Хмырь и на работе отчитал двух пацанов грузчиков за то, что громко матерились в курилке, и даже немного схлестнулся с начальником насчёт премиальных, впрочем, всё закончилось взаимными хохотком и обедом. А к концу рабочего дня Хмырь так развеселился, так расшутился с кладовщицей Людочкой, что и забыл совсем, что не употребляет; вернее, не забыл даже, но как-то умышленно спрятал этот факт в дальний карман светлой своей памяти. И когда коллеги, по пятничному регламенту, совершали разлив в раздевалке вечером, то Хмырю отчего-то так нестерпимо захотелось выпить, что пророненное кем-то «Эх, а Филимон Аркадьевич-то наш не пьёт!» встречено было тут же протестным «Да отчего же не выпить маленько с хорошими-то людьми?!».

И потом грянул тост, заждавшийся своего выходы, в подкладке потаённых желаний залежавшийся, как сальный анекдотец, острый и надуманный, хрусткий, как огурчик, и даже отдающий затхлою талантливостью. Опрокинув стакан, Хмырь просветлел душою; его сразу развезло, на голодный желудок, и по дороге он нестерпимо долго шутил и хохотал, видя лица коллег, будто из личного аквариума-пузыря. Коллеги тоже смеялись, как осатавшиеся звери, впусившие в себя бесов радости. «Смотри аккуратнее, Хмырь! — кричала весёлая Людка. — Дома Галька-то



наподдаст, ха-ха-ха!» — «Э, я ей сам сёдня задам жару! — храбрился Хмырь и хлопал себя по ляжкам: — Пятничное дело, братаны, чего уж!» — слетали со рта его глупости.

Расставшись с коллегами, Хмырь продолжал куда-то улыбаться, настигнутый счастьем, глупо натываясь улыбкой на прохожих, которые встречали его недоумённо, настороженно или просто — равнодушно смотрели на очередную пьяную рожу.

Хмырь плюхнулся в мягкое кресло автобуса и засопел, склонив голову и повесив губы. Кто-то вскоре неприятно подёргал за воротник. Оказалось, водитель ругался и зверствовал: «Конечная ж, японский бог!» Хмырь выбрался, обнаружив, что забыл где-то пакет с банкой от обеденной снеди и спецовкой, взятой домой для стирки.

По тротуару ступалось вязко и тяжело, не удавалось задеть прохожих, которые норовили столкнуться с Хмырём, но в последнюю секунду уворачивались. Тут Хмырь и напоролся на знакомого: посреди улицы стояло нечто в шапке — тёмное и понурое. Не успел он приблизиться, как прозвучало навстречу «Уважаемый!». Но Хмырь сам схватил вопрошающего за рукав и потащил. «А ну пошли за водкой!» — пригрозил он осипшим голосом. Бездомный переглянулся с кем-то и так выставил локоть, чтоб милому гражданину было удобно тянуть его за рукав в сторону прекрасного магазина.

«Наливай...» — скомандовал Филимон Аркадьевич на автобусной остановке, и последний светлячок разума погас где-то в тёмной стороне грёз, схороненный павшими листьями прошлых надежд и любовей.

Дальнейшее Хмырь с утра не помнил, да и вообще ничего не помнил по началу. Только визг жены резал и без того больную голову, и голова, как податливый сырой хлеб, разрезалась, не пропечёнными ломтями падая куда-то в бездну. Хмырь решил спастись бегством, едва умывшись, оделся кое-как и побежал вон из дома. «Куда, чёрт?!» — кричала жена, пытаясь ухватиться за рубашку отчаянно сбегającego мужа. Но тот всё же скрылся, шлёпая по лестнице отстающей подмёткой.

Оказавшись на улице, Хмырь ринулся в ближайший продуктовый. Голову теснила изнутри вата, а в руках вскоре было горячительное, чтоб залить и разжечь огонь в голове сигаретой. Сладенький чекунец, казалось, и сам ёрзал, нетерпеливый, в хмырёвых руках. Дрожащими губами Филимон облепил горлышко и сладенькое потекло в рот. Закашлялся, сблевал. С балкона зашумел кто-то: «А ну пошёл отсюда, синяк! Всё под окнами обрыгали уже, серуны! С-суки!» Хмырь дислоцировался в другие кусты, он знал, что теперь пойдёт хорошо, а мозг подсознательно нащупывал что-то в памяти, и тут взрыв её оглушил Филимона, ошмётки вчерашнего залепили пощёчину, зашипало в глазах, застыдилось что-то трепетное и сокровенное внутри, под ложечкой. Филимон немедленно скрутил пробку и решительно выдавил в себя добрую порцию сладенькой.

«Эй, дружок! — проникла в кустарник осклизлая мордочка. — Ты что же к нам не подходишь, друг, по кустам шарахаешься, а? Давай сюда, ща подлечим!» Филимон неохотно полез наружу, расслабленный. «Как зовут-то?» — поинтересовался новый друг.

— Филимон Аркадьевич.

— У нас тут без отчества! Я Колян, а ты Филя, значит. А если с отчествами, то без имени, так Захарыч?

— Так точно, наливай, — ответил Захарыч.

— Я так не привыкший.

— Ничего, привыкнешь, на вот, заполилуй!

Филя принял из рук бродяги пиво, а сам выпустил увлекаемую тем чекушку.

«Пойдём к нам!» — дал приказ новый необъятно-интересный человек.

Скоро подошли к знакомой остановке. «О, какие люди!» — приветствовали Хмыря. «Филимон Аркадьевич!» — здоровался осмелевший подлеченный Хмырь. «Ладно, не важничай, вчера тоже всё важничал, а потом нормально, опростался...»

— Опростел! — поправил старую алкоголичку молодой спившийся парень и опустился на корточки рядом с Хмырём, усаженным на скамейку почётным гостем. «Налегай, вот», — протянул

он ему закуску в виде шпрот.

– Откудова? – поинтересовался Хмырь.

– Да не стесняйся, люди добрые помогут, ешь! – Филимон снова выпил и закусил. Пошла хорошо, лучше прежнего.

«Забыл, небось, как вчера к Гальке-то лез, а? За цацки мацал!» – смеялась, подталкивая Филимона под локоть, старуха. – А потом с Ванькой нашим чуть за бабу не сцепился! Ха-ха-ха! Он тебе: на кого хобот залупил, козланогий?! А ты!.. Ха-ха-ха!.. Сейчас придёт она, вчера с собой всё тащил, в семью, ха-ха-ха!»

Филимон тоже закатился младенческим грудным смехом. «Что ж ты, водку проливаешь, а?!» – сказал рыжий парень и грузно встал. «Ой, нечаянно», – заспешил оправдаться Хмырь. «Нечаянно? – повторил скептически Ванька. – Ничего, как раз твоя очередь стрелять идти будет».

– Хрен куда пойду, – сказал Хмырь, но и сам усомнился в словах своих.

Тут подвалила барышня в демисезонном пальто – курчавая красавица с сизым соблазнительным фонариком под глазом. И завалилась к Хмырю на колени: «Какое у тебя интеллигентное лицо, люблю таких. У меня муж интеллигент, профессор, ёжки! Ха-ха, что молчишь?! Не узнал?! А ну обними!» Хмырь послушно вцепился в Галю руками.

– Давай выпьем с тобой! Палёная-то она вкусней, в ней подсластители всякие, да, Махруша?! А настоящую водку-то пьёшь, она и не чувствуется, я-то знаю, всякое пила. С профессорами же!

Под разговоры восходило в зенит кудрявое озорное солнце. Мимо шагали далёкие, как звёзды, люди, полные карманов и мелочи в них. На душе Хмыря было погано и скользко. Но ощущалась и своя приятность в этом. Как-то было тепло и сливочно сидеть в этой слякоти на весеннем пьяненьком солнышке. И таять.

Впереди расстилалось великолепное запойное будущее. И стакан в руках светился в лучах его, как родная путеводная звезда.

## В ОЧЕРЕДЯХ

Богат, как известно, русский язык, одно слово «баба» может быть тем, от которого пошло грубое «бабища», а может — и сокращённым от ласкового «бабушка», а ещё на стройках «бабами» забивают сваи, но это уже никак не имеет к рассказу отношения.

Баба Маша с интересом наблюдала молодёжь, от которой всегда ароматно пахло свежестью и чем-то сладким. Молодые жевали жвачку и доставали какие-то странные штуки, елозили по ним пальцами, будто гоняли там чего-то, или кого-то, непрерывно продолжая работать челюстями; и чем яростней они ими работали, тем напыщенней казались, будто молодые самцы и самочки привлекающие внимания друг друга.

Жевали, слушали в наушниках музыку, а взгляд прятали в телефонах, в сумочках, смотрели в пол, взгляд блуждал, стараясь избегать попадания в человеческие глаза. Не заразиться чужим настроением очень важно в мире самодостаточных индивидуальностей: не впитать в себя чужую грусть или радость. К тому же от эмоций морщинится лицо, и если уж тратиться на эмоции, то только на самые важные, одобренные в авторитетной среде взрослых: ответить смешком на смешок, если шутят по какому-то модному поводу, скорчить гримаску и сняться на айфон, выпятив губки. Распространить свою эмоцию по сети и соединиться с тысячей других эмоционально близких тебе мальчиков и девочек.

Такая молодёжь не всегда была рада засилью в поликлиниках стариков и бабушек: те часто ворчали, ругались, делали замечания, и всё это выводило молодёжь из себя.

«Эй, молодёжь!» — обращались к ним старухи и деды, и молодёжь передёргивалась, как затвор ружья, только выстрел раздавался внутри. Выстрел брезгливого недовольства, от которого расплывался по лицу стыдливый румянец.

«А это ещё лезет со своей ненужной никому добротой», — читалось в их детских лицах, когда баб Маша отмачивала «моло-

дѣжи» комплименты, что с нею часто случалось. Тогда, конечно, и «молодёжь» отвечала улыбкой, но вынужденной и искусственной, которая не держалась на лице и слетала с него, как плохо приклеенная, не выдержав и нескольких секунд. Затем они отворачивались или снова прятали взгляд в планшетах, телефонах, портативных приставках и играли, смотрели фильмы, клипы, рекламу, проверяли странички в соцсетях и новые сообщения, переписывались с друзьями о всяких пустяках, листали картинку за картинкой, ставили лайки и делали перепосты, снимали селфи в туалетах и лифтах и слали друг другу смайлики.

Молодым не нравилось, что баб Маша смотрит на них, как глупый и добрый ребёнок с наивными большими глазами и лицом, похожим на тёплый румяный пирог. Это всё наводило на неприятные о себе мысли.

Наверное, в старости их подключат к компьютеру и у них всегда будет верный друг под рукой. И не надо будет ходить по поликлиникам, чтоб жаловаться доктору на суставы, давление, сердце и почки, на плохие глаза и слух, на ломоту, боли и рези, на дорогие продукты и лекарства, на маленькую пенсию, на неблагодарных детей и не помнящих внуков, на ужасы по телевизору и грубость в общественном транспорте.

«Что им делать ещё, сидят на пенсии, вот и ходят по врачам, место занимают», – часто слышала баб Маша подобное в разных вариациях. «Нам всего-то справочку подписать», – говорили девочки и мальчики, и баба Маша пропускала то одного, то другую, вступая в спор с другими старушками, затевавшими перепалку: «Да куда им спешить, вся жизнь впереди?!» – «Да пусть идут, вступалась баб Маша... Иди-иди, девочка!.. Чего им с бабками сидеть, слушать наши глупости», – резонно заявляла она.

С печалью смотрела баба Маша на спешащую молодёжь: «Вот торопятся сейчас, а потом жалеть будут, что столько времени куда-то проторопились, потом вся глупость и поспешность, как на ладони. Всё ясно станет, да будет поздно уже, останется только жалеть».

«Иди-иди, девочка. Иди-иди, мальчик, – пропускала баба

Маша. — Я старая, посижу, куда мне бежать, я свое уже отбежала сполна». Слова её молодые люди пропускали мимо ушей и, говоря заготовленное «спасибо», шныряли в кабинет. Слова её не прилипали к их сознанию, как не трогало саму бабу Машу и их пластмассовое «спасибо», будто нечаянно брызнувшее сквозь зубы.

Вот так торжественно вручат справку, свидетельство о рождении, и целую жизнь бегаешь с ней, подтверждая её подлинность и усиливая значимость: тут подписать, там подписать, всё одна и та же справка, подтверждающая, что ты человек и право имеешь.

В поликлинику ходить тоже целая наука. Сначала ребёнок ходит в поликлинику с мамой за ручку, приглядывается, как себя вести, как правильно занимать очередь и как следить за ней: вдруг кто отойдёт и цыпочку потеряешь, сиди потом. Так ребёнок и привыкает. «Учись, — говорят ему, — скоро сам начнёшь ходить». И когда ребёнок сам идёт первый раз в поликлинику, он уже готов морально, ему уже не так страшно, он знает, какой врач может сделать бобо, а какого бояться не стоит совсем; знает, чего ожидать от очереди и бабушек в ней. Бабушки как отдельная группа вообще требуют особого внимания и разговора, не умеющего здесь полностью разместиться.

Раньше помимо поликлиники баб Маша посещала ещё и библиотеку: там часто проходили всякие мероприятия: показывали фильмы, читали стихи. И там тоже встречалась редкая, но молодёжь. Правда, и эта молодёжь чуралась всего старого и приходила за всем только новым: новым искусством и новой литературой. Как-то один молодой человек читал стихи. Баб Маша и так не сильно понимала в поэзии, а тут и совсем было тяжело разобраться. Запомнила она из всего только последнюю строчку, — шарахнувшую её по мозгам, — где говорилось, что не любит лирический герой ляжки жирные. Вот эти «ляжки» и запомнила баб Маша, запомнила и в библиотеку для культурного просвещения решила больше не ходить.

Но, слава богу, у баб Маши была ещё одна отдушина: подруга

баб Люба. Они часто бывали друг у друга, коротая в гостях время. Баб Люба не ходила в поликлинику и библиотеку, она сидела дома и читала книжки про Бога. И поэтому на многое имела своё мнение и ответ.

«Привет, одуван! — говорила ей баб Маша. — Садись, покумекаем». — «Сама ты одуван», — обижалась баб Люба, но не всерьёз, потому что знала, что это прозвище дали на самом деле не ей, а самой баб Маше вредные дворовые бабки, занимающие с утра скамейки и лавочки. А её, в свою очередь, они называли монашкой. Потому что баб Люба была глубоко верующим человеком и всегда ходила в платке и чёрной одежде, и с бабками со двора, что самое важное, беседы никогда не вела. За это и звали их монашкой и одуваном.

Но бабушкам прозвище «одуван» в душе казалось соответствующим, и они и сами себя называли так в шутку. Им оно и в правду шло: баб Маша, круглолицая, с узкими лучистыми глазами, широкой скуластой улыбкой, вся какая-то татарская, была похожа на китайского фарфорового божка. И баб Люба, сухая, костистая, но такая же добрая и кроткая, с вечной жалостью ко всему во взгляде. Вот и выходили они двумя одуванами в глазах бессменных общественных наблюдателей. Парой божьих таких коровок.

«Привет, одуван! Садись покумекаем».

Так, глядя друг другу в мудрые кошачьи глаза, две старушки сидели, и вечера сгущались над ними в беседе, как смерть сгущается вокруг старой жизни. Обступает трудно выстаиваемыми очередями в магазин, даже если очереди совсем маленькие, не такие, как в былые времена; трудно съеданной по привычке пищей, не приносящей радости, трудно понимаемыми людьми: родными и просто прохожими на улице.

Да и сама жизнь становилась с каждым днём всё труднее и менее понимаемой. И приближающаяся смерть не обещала никаких разгадок и объяснений, а только обжигала холодом воспоминаний и жалостью, что сгинет всё это в немую пустоту, навсегда смешается с землёй и непонятно, зачем только и было,

дразнило, мелькало в звонких словах гимнов и в томных — о любви, в горьких о правде, чести и совести. Всё оказалось понарошку, поигрались и хватит, спать пора, иди домой, быстро домой, завтра в школу! А в школу ли? Не пустота ли там и темень? Может, тогда и не надо быстро, не надо домой, не надо вообще никуда ничего?!.. «Нет, — уверенно говорили в душе старушки, — Всё зачем-то было нужно».

«Привет, Одуван!» — «Сама ты одуван!»

У баб Маши никого уже не было, кто б навещал её: где-то в чужом городе затерялась дочь вместе с внуком, где-то ещё дальше осел сын, женившись на хохлушке, и слал иногда только редкие и мелкие письма; а баб Любины дети жили поблизости и иногда заходили. Чаще это был сын. Он приходил, длинный, как оглобля и жидкий, как растение, и тогда они садились и разговаривали, но разговор давался не легко, будто перед каждым словом они передвигали по комнате тяжелую мебель и переставляли вещи на полочках, сдувая с них пыль воспоминаний и — пар с чашек с чаем. И всё, чтоб сказать друг другу что-то.

Сын её, тихий бессемейный пьяница, сидя с матерью, всегда виновато мял в руках или теребил что-нибудь и заикался. Так и сидели, пока по очереди не начинали вспоминать то одного, то другого родственника, переминая им по-доброму косточки. О чём-то ведь всё равно необходимо разговаривать, иначе — смерть, тварь бессловесная; а так — поговорили и уже легче, пусть и неумно, и непонятно, зачем столько лишних слов, и неловко как-то даже по отношению к самим предметам их разговора. Но так и правда было лучше, хоть и самые главные слова оставались не тронутыми, закопанные в ил в глубине души.

Ещё к баб Любе заезжала дочка. И оставляла денег. О другом они не общались. А когда-то ведь жили всей семьёй в большой квартире; но после смерти отца продали её вместе с дачей и купили взамен двушку вышедшей замуж сестре и по однушке матери с сыном. У каждого были свои личные дела и свой отличный от других образ жизни.



Так как баба Люба была глубоко верующей, комната её напоминала скит: стоило войти, как из всех углов взирали строгие лики святых, и, пойманный с поличным, грешный человек терялся, и голова кружилась, потому что в нос бил свечной лампадный дух.

«Может, тебе теперь в монастырь лучше, а?» — спрашивала баб Маша. «Разве не легче святым стать в монастыре, вдали от всего, а ты здесь, тут попробуй, — отвечала баб Люба. — В себе возведи монастырь, в которой вошла бы душа Бога». — «У Бога душа ещё есть?» — спрашивала баб Маша. «Бог сам и есть душа. И если ты свят, то и твоя душа часть его души. Только не войдет она в храм грязи и запустения. Очиститься надо, отскрести с души своей грязный налёт перочинным ножиком ржавым». — «Ой, страшные ты, Люба, вещи говоришь!» — «То-то же, одуван! Это тебе не шуточки шутить, в миру жить».

Сын, живя отдельно, раньше ещё строил всякие планы: семья, потомство. Но теперь уже больше ни на что не надеялся, работал где-то грузчиком и пил.

«Он добрый, поэтому и пьёт, — говорила баба Люба. — Это он добро своё запивает. Выпьет — и вроде легче с ним жить, с добром в душе. Ведь сложно, тяжело, когда добра в душе много. Есть вещи, которые не переступишь, когда в душе Бог и добро, пробуждающие совесть. Вот и приходится запивать их горькой водкой». — «Ну с Богом же легче, сама говорила?» — спрашивала баб Маша. «С Богом легче, — убежденно отвечала баб Люба. — С Богом спасение».

Когда баба Люба говорила о Боге, то вся светилась, счастливая, как младенец, недавно родившийся на свет и ничего не знающий о жизни и смерти. Да и не нужно ей было знать ничего, кроме Бога, олицетворяющего для неё весь смысл жизни. Не было никого важнее и больше, Он один наполнил собой её сердце, израненное обидами, и разлил по душе ласковый свет веры.

«У нас-то пенсии совсем не будет, один мне говорит, — рассказывала баб Маша случай в поликлинике. — Вы хоть на госо-

беспечении, а нас и того лишат. Вот так вот, Люба. И сама не рада, что разговорила такого: злой какой оказался!» — «И то правда, одуван, не обижайся на них, — отвечала баб Люба. — Не будет у них пенсии, откуда ей быть. Если они в упор никого не замечают, кому они сами-то будут нужны. Только и думают, как друг друга облапошить». — «Я не обижаюсь, Люба, жалко мне просто, как они потом будут такие? И на что нам только такая жизнь дана...»

«Не говори так, одуван. Бог-то он всё знает, ты и подумала только, а он уж тебя записал». — «Куда, в очередь?» — «В очередь!» — передразнила по-доброму баб Люба. Всё-то у ней всегда по-доброму, у этой баб Любы, монашки.

«А куда эта очередь? В очередях-то я стоять научилась за свою жизнь. А вот куда её, проклятую, занимать? Все ж в рай, наверно, занимают, в ад загреметь дураков нет?» — «Ошибаешься, одуван. В ад желающих больше даже: в рай-то не все выстоят ещё». — «В рай короче, значит, — вставила своё баб Маша. — А в ад, пока достоиншь, может, он совсем и кончится, не будет его».

«Вот дурная ты! А куда ж он денется?» — «Не знаю, ты у нас книжки читаешь, тебя и надо спросить, куда он денется? Может, очередь сама и есть уже ад», — нашлась баб Маша. «А вот это умно сказано, Маша. Очередь самый настоящий ад и есть. В душах он наших гнездится, ад, понимаешь?! Пока мы очередь занимаем, как у кого урвать получше да побыстрее. Нет, чтобы в стороне стать и отказаться от очереди, сказать не буду я занимать, принимайте меня самой последней. Тогда и другие посмотрят на тебя и скажут: да, во даёт! А потом, может, тоже начнут из очереди выходить, и наступит тогда согласие между людьми».

«Это что ж, Люба, начнётся?! Это ж хаос будет! Анархия! У доктора волосы дыбом встанут, ему принимать, а больные место друг другу уступают, заходить не хотят». — «Вот и хорошо! Пусть сам тогда больных выбирает, по степени тяжести. А людей в соблазн и грех вводить нечего!» — «Нет, Люба, не выйдет ничего: завидовать люди начнут, обиду затаят друг на друга, что доктор одного выбрал, а не другого». — «Эх, Маша, — вздохнула

тяжело баб Люба. — Любить надо, чтоб зависти не было». — «Где ж возьмешь-то её, любовь? Кто платить за неё будет?» — «А бог! Он и заплатит, кто ж ещё!» — «Эх, так это ж опять в очередь вставать надо! А кто ж стоять будет тебе просто так! Хоть какой аванс бы, тогда и стоять легче было бы». — «Бог он и так, Маша, врач бесплатный, какой тебе ещё аванс! Ты в поликлинике у доктора денег просишь разве, за то, что он тебя лечит?!» — «Было раз! Я на цены пожаловалась: до пенсии, говорю, лекарство такое дорогое купить не смогу. А он мне: пропить надо не мешкая. А где ж я денег возьму, говорю? А он мне, молоденький такой врач, хороший: вот вам, говорит. Вынул из кошелька своего: возьмите. Нет, говорю, что ж я, милостынь собирать пришла! А он: ничего, говорит, берите, в следующий раз отдадите, за выпиской придёте когда. А сестра, ну эта, карты которая пишет, так и фыркнула на него, мол, что ж за благотворительность-то разводите? Врач засмутился прям весь, хороший такой».

«И ты взяла?» — спросила баб Люба. «Взяла, а что ж хорошего человека обижать?» — «Ну и дура ты, одуван». — «Сама ты одуван, засмеялась баб маша, и баб Люба поддержала её сначала радостно блеснувшими глазами, а потом и голосом, смех в котором звучал совсем детским, звонким, как бьющиеся об пол ёлки игрушки, звенящие потом ещё долго и весело в памяти.

«Да, одуван, любовь-то на самом деле задаром негде взять, вычерпывать из себя только, из сердца с мясом выскрести». — «Ужасы ты опять, Люба, говоришь, страсти». — «Страсти, одуван, страсти, а куда от них денешься». — «Это я, одуван, а ты какой одуван после такого. Монашка ты, в монастырь тебе надо». — «Успокойся ты, Маша, замучила меня со своим монастырём. У меня дома монастырь, понятно?» — «Да куда уж яснее», — обижалась снова баб Маша.

Баба Люба не получала пенсии. По религиозным соображениям, она изорвала свой паспорт и сожгла, лишив себя гражданства и по сути места в государственной системе. Жила она на то, что давала ей дочь, на которую при разделе имущества была

оформлена квартира.

Дочь не понимала её, не жаловала за убеждения, считая выжившей из ума фанатичкой, но данное обещание выполняла: кормила мать и платила за проживание, пока та жива.

«Как же ты без пенсии-то? — говорила баб Маша. — Неправильно это как-то: дают, надо получать». — «Эх, не поймёшь ты, одуван. Всё равно, связывает это, понимаешь? Помнишь я тебе рассказывала, как жену Лота в камень Бог превратил за то, что обернулась? Сказал Господь: не оглядывайся. Значит так, и нечего хвататься за эти ниточки, они в ад приведут. Всё жалеем всякую дрянь, а душу свою топчем». — «Ну завелась, — надулась баб Маша. — Перестань уже, одуван». — «Это ты одуван, а я монашка. Мне на том свете Бог пенсию положит».

«А если бы не дочь и квартира, как бы ты без пенсии к Богу шла, а?!» — «Я всегда готова и от этого отказаться». — «Совсем ты людей не любишь, одуван», — сказала грустно баб Маша. «С людьми жить — свиньёй быть. Так вот, не обманывайся, Маша, дорогая моя. Я не виновата, что никто не хочет по закону жить, пусть каждый о себе думает, мне свою душу спасать, а они пусть делают, что хотят. В Бога верить, значит, предать себя ему и завещать его». — «Да, одуван, тяжело тебе твоя пенсия даётся», — вздохнула баб Маша.

Она хоть и уважала подругу за характер, сама в Бога так сильно не верила. Она была просто добрая сама по себе. Баба Люба тоже была когда-то доброй просто так, и Бог был для неё где-то там. Со временем же ей потребовалось создать Бога в себе, потому что она не могла больше довольствоваться абстрактностью божественного. Бог должен был быть с ней рядом всегда, в сердце её, потому что люди только выедали, как черви из сердца всю его сладкую мякоть, оставляя не заживающие раны, но ничего взамен. Во всём они искали пользу собственным эгоцентрическим мотивам, никто не услаждался самопожертвованием; это было удовольствием лишь избранных, Бога и всех верующих в Него.

А баб Маше не требовался конкретный Бог. Она, видимо,

была не так умна, чтобы додумать Бога до конца и закрыть ладошками, сделав из рук домик для пойманного Бога-светлячка. Бог был для неё солнышком за окошком, в которое можно провалиться, если слишком увлечься; поэтому, у бабы Маши, глядевшей в него с оттопыренным о стекло носом, и мысли не приходило в простоволосую седую голову, чтобы как-то сделать шаг вперёд, ещё чуть-чуть навстречу солнцу, чтобы расплавиться в доброте его. Все было и так замечательно видно.

А ещё баба Маша любила смотреть телевизор. Как только приходила из поликлиники, ела и садилась в кресло, беря в руки пульт. В телевизоре были люди, такие же, как она, с руками и ногами, только интересней. Они разыгрывали каждый день новые спектакли, и баба Маша искренно плакала и смеялась, вместе с любимыми героями телесериалов. И некоторые особо завлекательные эпизоды пересказывала бабе Любе; та правда этого не любила и никогда не слушала баб Машу всерьёз, смотря куда-нибудь в окно. Но баб Маша понимала её и никогда не обижалась; ей наоборот было приятно, что баб Люба делает вид, что слушает, не желая обидеть.

Но больше даже, чем телевизор, баба Маша любила смотреть большие светлые, будто выгоревшие, глаза баб Любы, которые, особенно когда улыбались, могли втянуть, казалось, всосать в себя не только окружающих, но и весь мир вместе с Богом.

«Может, тебе в монастырь всё же?» — спрашивала баб Маша, и так рождался из ничего долгий хитрый разговор двух старушек, доживших до пика бесславной своей, безрадостной старости.

Иногда сын бабы Любы пропадал, уходил в запой и шлялся неизвестно где. Потом возвращался и сидел после загула дома по полгода. В такие уходы мать молилась за него. Впрочем, как такие дни могли не совпадать с баблюбиной долгой молитвой, если баб Люба молилась Богу постоянно, пропадал её сын или просто сидел дома. Но все чудесные спасения его из разных передраг она неуклонно приписывала силе молитвы и воле всевышнего Бога.

Баб Люба считала, что душа сына блуждает на такой глубине

безверия, почти на уровне ада, что он попросту не видит этих чудесных совпадений, продолжая оттягивать момент осознания; и была уверена, что этот разделявший их мрак и помешает, в конечном счете, отвести от сына беду и смерть без покаяния.

И однажды это случилось. Сын долго не появлялся дома, баб Люба звонила, но телефон молчал. А потом избитый труп его нашли по утру у помойки дворники и сообщили в полицию, а те уже сестре, сестра – матери, и вот через некоторое время, отведенное на денежно-бюрократические процедуры, баб Люба стояла у двери квартиры баб Маши, которая как раз собиралась идти в поликлинику.

«Привет, одуван! Чего в такую рань, случилось чего?!» – «А как же, что должно было, то и случилось. Поможешь мне, Маша?»

Сестре некогда было заниматься братскими похоронами, но так как ей, по завещанию, отходила и братовскаяоднушка, деньги на похороны были выданы баб Любе в аккурат вовремя.

Так бабушки-подружки поехали за сыном в морг одни, там оплакали его и вместе с телом отправились в прикладбищенский храм на отпевание в предоставленной фирмой ритуальных услуг Газели. И вот ближе к обеду, подрастеряв в дороге силёнки, они достигли вместе с покойником последнего его пристанища и, стоя над свежевырытой могилкой, тихо плакали и причитали. Ветер трепал края одежды, выбивал волосы из-под платка, бил и без того избитые сухие лица двух пожилых матерей. И постепенно выплакиваемое горе баб Любы переходило в бесконечную музыку душевного океанического покоя.

«Теперь никого нет, – говорила она. – Только Бог, наедине осталась с Богом...» – «Ничего-ничего», – приговаривала баб Маша и гладила подругу по руке. «Никого нет, говорю тебе, Маша». – «Ничего-ничего, Люба», – отвечала ей подруга.

«Подле мужа лёг, моё место занял. Дочь сказала, пока это место надо использовать, а дальше видно будет. Проблемы надо решать по мере их поступления». – «Понятно всё. По очереди, значит», – поняла баб Маша.

Старушки нагнулись и бросили в могилу со стуком о крышку гроба по кусочку земли.

«Ладно, мать, давай за...» — не договорил плечистый парень за спиной старушек, крепко зевнув похмельным дыханием. Глаза его слезились на ветру, и он всё время шмыгал носом. «Молодым у нас дорога, — сказал он со спины хриплым голосом. — Хорош реветь вам, все там будем». Бабушки его не слышали. Тогда он сам зашёл спереди взглянуть на них.

«Молодым у нас дорога», — повторил он, уставившись в растрескавшиеся морщинами, холодно-серые полотна их лиц.

Баб Люба вынула деньги и протянула ему купюру. Парень шмыгнул носом, покряхтел, и спрятал руки в карманах, показывая, что за такие деньги разговор не заладится. Баб Люба добавила ещё одну бумажку. Парень выхватил небрежно деньги: «Ладно уж, давай», — сказал, и пошёл за лопатой, свистнув ещё трем крепким парням, курившим в сторонке. Те побросали окурки и принялись забрасывать покойника тяжёлой осенней глинистой землёй. Она стучала, будто в гроб забивали наглухо смерть. Жидкие водочные гвозди, которыми был прибит к кресту покойник, и крест этот был ношей баб Любы до сегодняшнего дня. И теперь она расставалась со всеми переживаниями за сына, мучившими её последние годы. Хотя и казалось ей, что душа его до сих пор трепещет рядом, поблизости, непрощённая и непризванная, прибывающая ещё на земле.

«Не бойся, — шептала баб Люба. — Я пока здесь. Не бойся, сын».

Старушки, обнявшись, снова заплакали. Шустро работая в восемь рук, через пять минут парни полностью управились и, закурив снова и закинув лопаты на плечи, уходили с места захоронения, оставляя шлейфы табачной вони позади. Ветер трепал и отрывал лепестки с воткнутых старушками цветочков, да и сами они трепыхались, как что-то легкое на подъём, воткнутое извне и временное, стоя возле свеженасыпанного холмика с простым железным крестом у изголовья последней земной постели человека.

«Сколько ж ещё было ему процеживать ад сквозь душу свою», – тихо разговаривала баб Люба то ли с подругой, то ли с собой. «И то правда, отмучился», – сказала баб Маша. «Сколько можно было, говорю, терпеть», – сказала баб Люба.

Потихоньку они заковыляли к выходу через могильные ряды, обложенные венками и огороженные изгородями, сильно продуваемые со всех сторон, так что мокрый ветер продолжал хлестать старушек по лицу, будто не хотел отпустить с кладбища.

Добравшись до остановки, они увидели большой автобус. Помогая друг другу, вскарабкались внутрь. «У нас льгот нет!» – громыхнул, как из пушки, красномордый здоровяк водила. «Ох-ох», – заохала баб Маша, не хотевшая платить, будучи пенсионеркой. И бабушкам, вздыхая, пришлось спешно покинуть автобус. Гордой России бабушки-старушки не нужны, Россия – суровая страна молодых идиотов.

Две хрупкие старые женщины, оставшиеся на остановке ждать автобуса «для всех», под пронизывающем осенним ветром, глядящие друг другу в до блеска сознательные кошачьи глаза, спокойные ко всему и всё видевшие. Какими наблюдает их Бог? Букашками, двумя поедаемыми божьими коровками в огромном кипящем страстями муравейнике или центром мира, в котором стучится сердце его, сердце надежды и любви, как первородный импульс божественного начала? А всё остальное пыль, временное нагромождение никчемного барахла, плод суеты и муки существования...

«И зачем только живёшь», – сказала баб Маша, вздыхая. «Чего?.. А ты как будто и не знаешь, одуван», – сказала баб Люба.

И правда непонятно, зачем живёшь. Кто-то гонит постоянно, толкает в спину, жжёт пристальным взглядом затылок в очереди за тобой: давай быстрее, не тяни, а не можешь, так пропусти меня вперёд! Торопит всё: давай-давай! Сколько уже можно ждать! А подождать-то, казалось, надо совсем немножечко, и будет всё, даст Бог. А Бог не дал, и ты в обиде, грозишь Богу исподтишка кулаком: вот возьму и умру. А сам не умираешь, про-



должая держать всё в своих руках, как и держал, сам не зная, зачем только совершаешь этот напрасный пожизненный труд, для кого несёшь судьбу свою. А скоро и конец, нечем больше дышать, некуда откладывать на завтра, порвался карман — не зашьёшь. И вот тащишь свой скарб на помойку, в могилку, никому не нужный глупый человечек. Как крошки со стола смахнули тебя в преисподнюю неведомые руки. И летишь со своею чужью навстречу неизвестности, и смеётся Он, грохочет в облаках.

«Смеётся над нами Бог», — сказала баб Маша. «Нет. Не говори так, одуван, не гневи Его», — сказала баб Люба.

И несутся по ветру старушки-одуванчики, сорванные с могильного холмика, побыли воткнутыми недолго, и хватит. Летите теперь, распыляйтесь. Смахнули и вас, как две пылинки. А бог высунул язык, и вы, прилипшие, таете на языке его, как две осенние снежинки. Старушки-снежинки, старушки-одуванчики, крошки на губах сытого бога.

«Да нет, смеётся, он, одуван. Жалости у него нет. И снег вот пошёл ещё». — «Прекрати, Маша, не так он смеётся, как ты говоришь. Не слышала ты смех его в душе своей, раз злая такая. Снег! Снег грязь теперь прикроет». — «Какая же я злая, что ты говоришь». — «То и говорю, потому что знаю, какой Бог радостный для тех, кто верит в него. И каким он зверем кажется безбожникам, отказывающимся от света его добровольно».

В общем, добивались старушки долго. Дорогой баб Любу продуло и она, по приходу домой, слегла. Баб Маша теперь каждый день навещала её и сидела с ней; ходила в магазин, ухаживала, как могла.

«Слушай, а я тебе что рассказать-то хотела, — пришла баб Маша на третий день болезни. — В поликлинике-то знаешь что учудили, очередь электронную сделали, теперь занимать ничего не надо, пришёл и садись; ждёшь, а тебя по номеру вызывают, поняла? Соблазн искоренили, Люба, понимаешь? Какой талон взял, таким по счёту и пойдёшь, как ты хотела, Люба. Теперь-то пойдёшь со мной в поликлинику лечится?» — «Нет, одуван, —

осипшим голосом заговорила баб Люба. — Ничего к лучшему не изменилось». — «Чего ты? Говорю же тебе, по-другому стало?» — «Общения людей лишили, Маша. Раньше хоть общались как-то, пусть и ругались больше, а теперь всё через компьютер, а человек человеку чужой». — «Так не ругаются ж зато?» — «Да что толку, Маша? А, не поймёшь ты всё равно... Дай водички попить». — «Сейчас. На вот, вспомнила, мне тут доктор подсказал, что тебе пить надо...» — «Не, надо, Маша, спасибо тебе...» — «Чего, не будешь?!» — «Не буду, Маша...» — «Ну смотри, подруга, я для тебя, значит, лекарство купила, а ты...» — «Не обижайся, Маша, спасибо тебе, но не надо таблеток больше...» — «Больше! Как будто тебя ими закармлили прям...» — «Не мучай меня, Маша, разговорами, слабая я». — «Ладно, уж, лежи тогда так, пойду я блинов напеку, помянём сына твоего».

Пришла баб Маша на четвёртый день. «А тебе, смотрю, полегче вроде стало... А, ты чего такая, лежишь?» — «Да приснилось мне тут». — «Чего приснилось-то? Рассказывай». — «Да вот, приснилось: лежит в комнатушке и помирает человек. И сам как будто стыдится того, что помирает. С головой в одеяло закутался весь и стонет жалостливо, боится всё же сострадание к себе совсем растерять, вот и хватается за остатки его... за обрывки. И слова даются ему тяжело, с неохотой: «Мать, а мать...» А я так, будто не слышу: «Ась?!» А он снова: «Мать! Помирать я собрался, слышь?» — «Ась?!» — говорю. — «Помираешь уже?» — «Да, помирать я, мать, удумал...» И тихо так высунет руку наружу из-под одеяла, точно проститься хочет».

«Кто ж это, сын что ли?» — «А, не знаю, Маша... Не знаю ничего...» И закрыла глаза баб Люба, по сухим канавкам морщин скапались на подушку слёзы.

«Ладно, не расстраивайся. Поешь, может? Сделать тебе?» — «Не надо...» — «Как не надо? Подожди, сейчас сделаю». И пошла, зашаркала тапками, зашуршала пакетами баб Маша, стала готовить, прибраться. К вечеру только баб Любе стало хуже, поднялась резко температура, охватил жар. Баб Маша решила остаться с ней, не уходить. К ночи у баб Любы начался бред, она что-то

всё шептала, разговаривала с кем-то.

«Люба, что делать? Врача тебе не вызовешь, ты бездокументная, лечить всё равно не будут, а молиться я не умею. Люба, терпи, что делать, терпи», — причитала баб Маша над ней. Всю ночь она не сомкнула глаз, волновалась за подругу.

Одуван увядал, и в свете утреннем, казалось, светился изнутри остатками силы, покидающими тело, прозрачный, как лепесток. Другой одуван плакал над ним. «Баб, Люба, ты очнулась?! Да?» — «Да, баб Маша... Очнулась... Скоро я тебя отпущу совсем... Прости, что так тебя замучила». Баб Маша взяла её за руку, рука высохла, и кожа на ней стало будто пергаментная, готовая порваться.

«Я дочери твоей позвонила, Люба». — «Не надо было, Маша... Пока не кончится».

Прошло ещё пару часов. Баб Любе становилось хуже. «Больно, как жжёт... больно... Не надо, Господи... Не так... больно... рвёт...» — «Что рвёт, Люба? Что ты говоришь?» — «Плево рвёт, Маша...» — «Какое ещё?» — «Вход храма моего... влагает Бог... в храм мой... влагает...» — «Что?! Что ты говоришь такое, Люба?! Не надо, я боюсь... Ты не в уме». — «Я невеста, Маша... Бог входит в меня... Душа Бога, Маша... Душа Бога с моей соединяется...» — «Боюсь я, Люба, боюсь!» — «Душу Бог мою забирает к себе... Чего боишься ты, глупая?.. Молись лучше... Невеста я, обручённая... Прости, Маша... Больно мне... Больно, как же больно... разрывает всю... Не так, Господи... Не так...»

На губах остыли слова, запеклись в последнем посмертном дыхании. Баб Маша рыдала, наклонившись к подруге-покойнице, коснувшись лбом сухой её руки, омывая слезами руку её. Сжималось сердце в обиде на тёмную зловещую пустоту, окутавшую, забравшую подругу. И самой баб Маше теперь угрожающую. Не вечен свет за окном для глаз наших в прах обращающихся, тленных. Не вечна пульсация солнца в венах, затвердевающих в увядании. Рушится тело храма человеческого, и некому держать свечку в нём. Умирает, гаснет душа. В мире нашем...

Как воск, слёзы баб Машины, горячие, всё текли на холодную

руку баб Любину. И звенела в голове её разбившаяся золотая игрушка, стучал барабан: «Баб Люба-баб Маша! Баб Люба-баб Маша! Баб Люба-баб!..»

Но уже скоро нужно было утереться платком, взять себя в руки. Приходила очередь звонить Надьке, дочери баб Любиной. А она, в свою очередь, должна была вызвать полицейских и врачей, чтобы те засвидетельствовали смерть по закону: выполнили свой человеческий долг в отношении усопшей. Передоверили знания свои бумаге. Да и сама приехать должна была, в конце концов, дочка.

Уж баб Маша найдет для неё словечко, есть о чём покумекать.

## ИСКУССТВО ЖИТЬ

Чай в стакане остывал. Стакан гранёный с подстаканником, — «старорежимный», как шутил про него сменщик Алёха. Можно чай пить, а можно водку, такие раньше брали в поездах у проводниц. Но Максим Максимыч водку давно уже не пил и никуда не ехал, хотя похож был на пассажира, когда сидел вот так в своей каморке у окошка за столиком с чаем в гранёном стакане с подстаканником.

«Куда собрался, Максимыч?! — шутил, глядя на него всё тот же озорной сменщик Алёха. — Чух-чух!» — «Чух-чух», — бубнил Максимыч в усы и смотрел за окно, за которым мелкий дождь размывал грязь от стройки, и ничто никуда не двигалось, а стояло на месте мёртвым грузом.

«Домой-то пойдёшь, всю ночь опять не спал?» — «Не спится что-то, Алёха, вот хотел чаем взбодриться на дорожку». — «Остыл уже твой чай, Максимыч». — «Да, так и есть».

Когда-то Максим Максимыч мечтал о великом (было это так давно, что и вспомнить стыдно), хотел стать художником; в юности он хорошо рисовал, ему пророчили славное будущее. Но как-то не сложилось, пошёл в армию, служил на Кавказе, где было много сюжетов и пейзажей, но все они перегорали в душе,

а иногда и не хотелось их оттуда выуживать. Потом женился, нарожали с супругой детей, и как-то забылись, затёрлись все эти молодые чаяния в суете дней. Хотел жить на славу, а прожил не заметную тихую жизнь, и одно вынес из неё Максим Максимыч: что счастье, в полном своём объёме, никогда не достаётся на земле, оно всегда мерцает где-нибудь вдалеке, как путеводная звезда, светит тебе одиноко, манит, зовёт, призывает не сдаваться, не бросать всё на полпути. И так всю жизнь, всю дорогу; счастья на земле не бывает; его видишь в детях, но и они часто разочаровывают; его ожидаешь от Бога, но и Бог, если есть, то весь там — за земными пределами.

Жена Максима Максимыча ударилась в религию и до сих пор в ней билась, как рыба об лёд, всё чуднее с каждым годом. А сам Максим Максимыч, спасаясь от осознания бренности бытия, пробовал пить водку, — но тоже как-то не пошло. Водку пить ведь тоже искусство большое! Как смену Максим Максимыч принимает, так с час ещё за дедом перегар выветривает. Старый уже, старше Максимыча, а всю жизнь вот так вот — меньше бутылки за день не выпивал, сколько себя помнит; как возьмётся рассказывать что-нибудь — всё об одном: «Вот, раньше, бывало, нажрёшься...» — и пошло жизнеописание великое.

Нет, ни водка, ни религия, Максима Максимыча не тешили, не манили. Жажда высокого ещё жила в нём подспудно; никем не замечаемая, таилась в складочках морщин; только изменилась она со временем, как и сам Максим Максимыч, и уже не звала к свершениям ради славы и почестей, а была вся здесь, в ежечасных мелких делах, словно задача его заключалась не в том, чтобы применить, а, наоборот, — чтоб не расплескать силу души, не растратить, донести до заветного края в сосуде глиняном; не измельчать самому от мелочной жизни, здесь и сейчас оставаться собой, не ради наград, а только, чтоб сдержаться, не сломать ничего — не натворить лишнего.

Это и называют люди зрелостью и уважают её в других. Но если за что и почитали Максима Максимыча, то именно другие, а не свои. Жена ругала его старым язычником и всё больше

пряталась в своём «скиту», а от дочери с сыном и вовсе не стоило ждать какого-то почтения; дай бог, не забудут скоро совсем, и на том спасибо.

Максим Максимыч выплеснул чай в ведро под рукомойником, сполоснул стакан и стал собираться. Переоделся, надел сапоги, перебросил сумку через плечо, закурил и вышел на улицу, звучно ступив ногами в грязь.

«Бывай, Алёха! Не безобразничай тут!» – «Постараюсь, Максим Максимыч, удачи тебе на выходных!»

«Удачи! – усмехнулся про себя Максим Максимыч, – Слово-то ведь какое!.. Только на дачке возиться и остаётся», – переиграл он в шутку на свой лад. Впрочем, это дело он любил и на огородную работу не сетовал. Созрели помидоры, пошла смородина, – вот тебе оно и творчество. Только сменщик-то имел в виду совсем не это; под «удачей» или под «удачкой» понимают обычно другое: сорвать куш, разжиться. А если «удачка», то и вовсе выходит что-то уж очень жалкое, вроде и не большой успех впереди, а так – стырил что-то по мелочи. «Эх, обмельчал народишко-то наш! – нараспев подумал Максим Максимыч. – Вот Алёха бы её так просто не отпустил, – вспомнил он прошедшую ночь, – сам бы за целую бригаду отработал. Здоровья-то, слава богу, прорва; в излишке даже для такой работы, как наша. Сюда пенсионеров бы, да нет – и молодым место находится; энергию девать-то надо куда-то, вот и нашёл бы ей применение... Удачи, тьфу ты!»

Пытался ночью один гастарбайтер провести девчонку на стройку, но Максим Максимыч не пустил. Тот, оскалившись, стал звонить своим, а Максим Максимыч отвёл в сторонку девчонку и спросил: «Ты зачем сюда пришла?» Та начала было врать что-то, но потом рассказала как есть, запинаясь, как перед экзаменом: сама из Иванова, отца нет, взяли с матерью кредит, теперь надо, вот, выплачивать. Максимыч внимательно поглядел в доверчивые её глазки: девочка была примерно возраста его дочери, лет девятнадцати.

«Может, вот так и моя где-нибудь, – прикинул Максим Мак-

симыч. — Всё время жалуется же, что денег у неё нет... Но нет, моя гордая, не пойдёт на такое», — разуверял себя Максимыч. «Хотя одно другому-то не мешает, — тут же снова подвергнулся сомнениям, — за три рубля ведь — проститутка, а за триста долларов — вполне себе благоразумная современная барышня».

«Ты думаешь он такой один там? — спросил Максим Максимыч девочку, вглядываясь в её красивые пустые глаза, не знавшие ещё по-настоящему ни горя, ни радости. — Тебя в бытовке человек пятнадцать дожидаются, хочешь на пятнадцать попасть — иди!»

Из бытовки, как из норы, повылазили и остальные соплеменники охочего до девичьих прелестей чернорабочего. «Ну, что не пускаешь, э-э?» — крикнул кто-то из них, после чего Максимыч выразился в их сторону внушительно и нецензурно, как умел, когда нужно было. Гастарбайтеры отрезвились, присмирели и молча встали кучкой неподалёку, дожидаясь развязки.

«Ну, что поняла теперь?» — спросил Максим Максимыч девочку. — «Да...» — протянула она дрожащим голосом, придвинувшись к старику-охраннику.

«Деньги-то не брала ещё?» — «Нет...» — «Иди скажи ему, что не пойдёшь с ним... что я тебя не пускаю. И уходи отсюда».

Отказав недовольному гастарбайтеру, девочка побежала прочь; выскользнув из света фонаря, скрылась по пояс в темноте, мелькая ещё недолго светлыми джинсами. Тот злобно брызнул на Максимыча ядовитым взглядом, возвращаясь в барак вслед за собратьями и бурча ругательства на своём. Но Максимыч не повёл и бровью, прищурившись и попыхивая в ночь папироской.

«Ничего, — думал Максим Максимыч, — зато крыс всех переловят».

В годы ещё своей боевой армейской молодости поносило Максим Максимыча по советской Азии и Закавказью. Тогда и узнал он, что много есть у диких, далёких от цивилизации народов всяких хитрых способов удовлетворить свою неуёмную природу. От одних достаётся ослицам и прочему скоту, а у других,

более изощрённых, доходит дело даже и до совсем мелких тварей. Слышал он, например, как ловят крысу, выбивают ей все зубы, сажают в клетку и морят голодом, а когда крыса созреет, суют ей через прутья то самое, что не даёт покоя всем особям мужского пола от мала до велика; и крыса набрасывается с жадностью и сосёт.

«Сосёт и причмокивает!» – пошутил не добро Максим Максимыч и с досадою сплюнул. Впрочем, что брать Азию, когда и в русских глубинках бытует ещё выражение: «ходить до телят», телёнок ведь тоже сосунок беззубый. Так что дело тут, скорее, в общекультурном развитии, чем в каких-то особенных свойствах отдельно взятого народа. «Всё так, всё так, – вздыхал Максим Максимыч, подходя к метро. – Да, Алёха, тот бы её приласкал... Как следует... А может оно и правильно? Может, так и надо жить?..» – подумал он, бросая окурок в урну и с силой толкая тяжёлую на сквозняке стеклянную дверь с не оборванным до конца объявлением: «На высокооплачиваемую работу приглашаем девушек...».